

I

Пожалуй, именно в рождественские дни сорок первого года Агнесса Буссардель впервые спросила себя, уж не слишком ли она несправедливо относится к своей семье.

В Марсель Агнесса прибыла в сумерки. Студеный шквальный ветер с размаху бился о выступы домов, словно оттачивая о них свою ярость. Агнесса приехала с мыса Байю, что в нынешних условиях стало предприятием нелегким. Нормального сообщения между островом Пор-Кро и Сален де Гиер уже не было. Со времени перемирия, заключенного в июне сорокового года, Лазурный берег находился под властью Виши. На всем протяжении от Колиура до Ментоны лишь изредка выплывали в открытое море баркасы, а рыбаки — жители маленьких гаваней — курсировали неподалеку от берега, сокрушенно, даже с какой-то тоской вглядываясь в прозрачные воды Средиземного моря. С наступлением темноты любая попытка зажечь в лодке фонарь немедленно пресекалась; обнаружив в прибрежных водах любую тень, полиция немедленно пускалась в погоню. Как ни малочисленно было население островов, власти

ввели здесь специальный режим запретов и принуждения. Только дважды в день — рано утром и вечером — разрешено было движение между островами и континентом, как называли здесь побережье.

Агнессе пришлось пробираться погруженными во мрак улицами и переулками Марсея; ей необходимо было попасть в подвальное помещение одного кафе, затерявшегося где-то среди зданий квартала Шапитр. Прежде чем войти, она еще раз сверилась с адресом, нацарапанным на бумажке, и взглянула на вывеску; именно здесь должны были собраться несколько человек, собраться тайно — под предлогом празднования рождества, в котором согласилась принять участие и Агнесса. Присмотревшись к дому, более чем невзрачному, она подумала, что самый выбор места для собрания такого рода и в такие времена прекрасно соответствовал характеру ее подруги. «Я не могла отказать ей, как в прошлом году», — подумала она, проходя через помещение кафе и спускаясь по лестнице, согласно указанию в записке. С тех пор как Агнесса овдовела, прошло два года, и обычная ссылка на вдовство сейчас уже вряд ли прозвучала бы убедительно.

Подруга Агнессы суетилась вокруг стола и в ожидании гостей расставляла холодные закуски. Она сразу пожаловалась Агнессе, что не нашла почти ничего из продуктов, которые думала достать, и, рассказывая о своей неудаче, не выпускала изо рта пустого мундштука, который заменял ей сигарету. Агнесса вручила подруге литр оливкового масла, сообщила, что сын ее, о котором та осведомлялась, вполне здоров, и в ответ услышала, что ей поруча-

ется отправиться на вокзал: трое журналистов, проживающих в Лионе и приглашенных на сочельник, придут с ближайшим поездом, но место встречи им сообщено не было.

— Вы их сразу узнаете, — сказала Агнесе хозяйка и распорядительница сегодняшнего вечера. — Девушка и два молодых человека. Особенно их не расспрашивайте. Пусть лучше расскажут свои новости за столом. Это нам заменит закуску.

Во внутреннем помещении вокзала Сен-Шарль было почти безлюдно; затемнение, хотя и весьма относительное, превратило железнодорожные пути в мертвую пустыню, уходившую куда-то вдаль, во мрак, которому не могли противостоять редкие и зловещие отблески света. Стекланный свод тоже был еле виден, крыша уходила куда-то вверх, где уже безраздельно господствовал холод. Морозный воздух застыл в неподвижности, которая нарушалась лишь в те мгновения, когда вдруг открывали дверь, наглухо зашторенную синим, — она как бы нехотя поддавалась человеческой руке и тут же снова уступала напору ветра, так и не дав уловить очертания человеческой фигуры. Люди быстро перебежали от одного островка света к другому, исчезали из глаз, окликались друг друга. Было что-то нелепое в этих бредовых движениях, в этом псевдозатемнении, в игре света и теней, и обычная на всех ночных вокзалах бездушная атмосфера безразличия ощущалась еще сильнее на этих железнодорожных путях, упирающихся в тупик.

На доске железнодорожного расписания появилась надпись, сообщавшая о том, что поезд из Лиона

опаздывает. Агнесса решила посидеть пока у буфетной стойки. Весь остаток вокзального оживления нашел себе приют здесь, в жестком свете электрических лампочек, освещавших мраморные столики и лица беседующих. Агнесса быстро прошла к свободному месту за столиком и очутилась между двух групп пассажиров; она сразу поняла, что это прибывшие из Парижа ожидают в буфете пересадки в обществе родственников, тоже парижан, видимо, осевших в Марселе и пришедших на вокзал повидаться с проезжающими. Даже в этом случайном месте их можно было отличить от местных жителей: выдавало не только произношение, но также худоба, по которой сразу опознавали жителей оккупированной зоны, не говоря уже о том, что все женщины оттуда носили на голове самодельные тюрбаны. Кто сооружал их из шарфа, кто из кашне, кто из куска толстой шерсти или искусственного шелка, но у всех тюрбаны еще хранили складки, свидетельствовавшие о прежнем их употреблении, у всех они были сделаны на один манер, скрывая затылок и уши и выступая узлом повыше лба, похожие не то на сбившийся на сторону бинт у беспокойного больного, не то на тюремный колпак. Агнесса подумала, что это должно быть, в конце концов, довольно практично и что не так уж трудно повязывать тюрбан: нужно только набить руку. Здесь, по другую сторону демаркационной линии, эта мода еще не укоренилась.

Одна из женщин, сидевшая ближе всех к Агнессе, что-то возбужденно рассказывала, откусывая большие куски от бутерброда. Ее спутники, очевидно,

принесшие ей это угощение, не очень прислушивались к рассказу, и видно было, что они сами не могут оторвать глаз от огромного ломтя, пропитанного маслом; меж тем дама продолжала говорить, никому не предлагая поделиться своим добром, и при каждом щелкании челюстей, перемалывавших хлеб, с ломтя струйкой текло оливковое масло. Путешественница старалась не уронить ни крошки, и в то же время ей хотелось поскорее рассказать все, что она знала; это лихорадочное поглощение пищи сопровождалось таким же болезненным недержанием речи.

— Выпей чего-нибудь, — советовали ей, — а то, не дай бог, подавишься.

Кто-то предложил ей подержать бутерброд, но она не соглашалась выпустить его из рук, судорожно вцепилась в него пальцами.

Ей налили вина, и все смотрели, как она пьет, а через мгновение вновь послышался ее голос.

Никто не пытался останавливать ее. В сущности, она не сообщала никаких новостей о родственниках или друзьях, она рассказывала о парижском голоде, о несправедливости в распределении пайков, о гнусности черного рынка, о холоде, о чудовищных ценах на древесные опилки, о полицейских свистках при малейшем проблеске света сквозь щелочку занавесок, о том, как в часы пик происходят настоящие битвы и у входа в метро, и при посадке в вагоны.

— Но самое страшное — это очереди! — воскликнула она. — У меня уже нет сил стоять в очередях. Ведь приходится становиться в хвост, когда еще совсем темно, хоть они и передвинули часы,

а возвращаешься к себе — уже полдень. Верно, верно, я вам не вру. Да еще счастье, если не объявляют воздушную тревогу, потому что, если ты случайно окажешься далеко от дома и дежурный попадетя слишком рьяный, — пожалуйста в погреб! Хочешь не хочешь — все равно заставят. Проходит час, ты выбираешься на поверхность и снова пристраиваешься к очереди. А бывает и так, что после двух-трех часов выстаивания, когда наконец наступает твоя очередь и тыходишь в лавку, вдруг вывешивают объявление: сегодня продажи больше не будет! А кто виноват? Все черный рынок — будьте уверены. Да, да, торгашам я это припомню. Если выживем, сведем с ними счеты. А у вас в Ницце есть черный рынок? И вот результат: посмотрите на мои руки, — закончила она с новой силой... Рот у нее был набит едой, она протянула окружающим свои руки с раздувшимися, как сосиски, пальцами, с потрескавшейся кожей какого-то бледно-лилового оттенка. — Это недостаток жиров сказывается. И ничего тут не поделаешь. Выдадут чуточку масла, а остальное своруют. Со всех сторон жульничество. Эрзацы! Вместо кофе жареный ячмень, и прессованная мука из вики вместо хлеба. Вот тебе еда, вот тебе и питье. А пирожки с рыбой продают готовыми — можете жевать их сколько угодно, фарш хрустит на зубах, это просто размельченные ракушки. Кажется, только оливковое масло еще не додумались подделывать. Лучше всего суррогаты, по крайней мере, не вредят здоровью, например экстракт из водорослей, но лично я никак не могу привыкнуть: салат хрустит на зубах. И все-таки все

бы это ничего, если бы не очереди. Можете мне поверить, привычка к очередям превратилась у многих в какую-то манию, навязчивую идею. Достаточно увидеть очередь на тротуаре — и человек сразу пристраивается в хвост, даже не узнав, что продают, чего ждут люди, даже не имея соответствующего талона.

Агнесса отвернулась, но тут же услышала беседу соседей с другой стороны. Тут говорили о патрулях, о том, что появление на улице после комендантского часа грозит чуть ли не смертью, о том, что в некоторых округах Парижа людей заставляют по три дня сидеть дома и любоваться из окон пустынными улицами, о репрессиях в ответ на покушения, о приказах, которые появляются утром на стенках уличных уборных и где двумя длинными столбцами напечатаны имена расстрелянных этой ночью заложников. У говорившего были впалые щеки, и хотя в его рассказе не чувствовалось той страшной растерянности, что у рассказчицы, самый тон был тот же — какое-то сочетание скорбного упрека и гордости, что Агнесе уже не раз приходилось улавливать в разговоре с людьми из оккупированной зоны. Рассказчик сообщил, что десять дней тому назад в Париже были расстреляны в один день сто заложников и что Штюльпнагель обложил евреев, проживающих в оккупированной зоне, контрибуцией в один миллиард. Тут он заметил, что Агнесса прислушивается к беседе, и подмигнул своим собеседникам. Те поняли, наклонили к нему головы, и теперь рассказчика почти не было слышно. Агнесса поднялась с места, вышла. Дверь с оклеен-

ными стеклами закрылась за ней, вновь вернула ее в крошечную тьму.

Бродя по вокзалу, Агнесса не находила уголка, где могла бы приткнуться. Вход в зал ожидания был воспрещен: помещение передали морской полиции. На часах у двери стояли солдаты морской пехоты в касках с ремнем под подбородком: псевдоармия под стать здешнему псевдозатемнению. Агнесса подумала, что отсюда можно было бы соединиться по телефону с Пор-Кро. Но тут же сообразила, что после семи часов вечера связь с островом допускалась лишь в экстренных случаях, к тому же было уже слишком поздно и ей не хотелось без особой нужды беспокоить милую Викторину, которой она доверила своего сына. В конце концов ей удалось обнаружить рядом с багажным помещением темный уголок, где она и уселась на какой-то ящик.

Здесь пассажиры не заглядывали. Она сидела не шевелясь, мучительно обдумывая все, что пришлось услышать в буфете, ее мысль лихорадочно работала, хотелось что-то понять, представить себе воочию. Начиная с июня сорокового года она, можно сказать, ни разу не ступала на землю материка, в Гиере бывала только по самым неотложным делам, а уж дальше ни шагу. К маленькому этому островку, где проживало всего тридцать обитателей, ее приковывали заботы о ребенке, а также хозяйственные заботы. То, что ей до сих пор приходилось слышать насчет условий жизни в оккупированной зоне, не позволяло сделать ясных выводов: столько ко всему примешивалось сплетен, неправдоподобных выдумок и явно подозрительных преувеличений! Видно, тетя Эмма

в свое время не зря утверждала, что в этой дочери господ Буссарделей сидит не столько бес, сколько дух противоречия. И в самом деле, Агнесса предпочитала оставаться скептиком в современных условиях, скептиком во что бы то ни стало и из принципа; она старалась не слышать ежедневно распространявшихся слухов, независимо от того, кому они были на пользу. Это лучшее средство быть порядочным человеком, любила она повторять. И включала она только передачи швейцарского радио.

Сегодня получилось по-иному; но если сегодня она проявила внимание к тому, что говорили люди, встретившиеся ей случайно, то лишь потому, что это были сами очевидцы событий. Сидя в своем уголке, она почувствовала, что мерзнет, от холода начали гореть уши, сжимало виски. Она, как всегда, вышла с непокрытой головой и теперь, сняв кашемировый платок с шеи, сложила его на коленях по диагонали и повязала им голову. Подняв воротник, она вынула из сумочки зеркальце и убедилась, что тюрбан удался ей с первого раза. Впрочем, этот головной убор только подчеркнул ее здоровый цвет лица в сравнении с парижанкой, пожирившей бутерброд, пропитанный маслом. Благодаря классическим, по ее мнению, даже чересчур классическим, чертам лица Агнесса в этом уборе сразу стала похожа на расиновскую Роксану, на «Одалиску» Энгра. Из уголка, где она устроилась, багажное отделение представлялось таким пустынным и беспросветно мрачным, что рядом с ним еле освещенная и почти безлюдная зала выглядела чуть ли не оживленной. Во всем окружающем чувствовалось уныние, тоска ожидания перед

путешествием в никуда. В памяти Агнессы всплыла другая картина марсельского вокзала, сказочно расцвеченная бабушкиной фантазией, с его суетой и оживлением. В те времена, когда бабушка Буссардель еще могла говорить, она иной раз рассказывала о своем прибытии в Марсель во время свадебного путешествия. Она описывала то ошеломление и восторг, которые охватили ее еще на ступеньке вагона, когда ей впервые открылся этот город, залитый южным солнцем, по-восточному яркий и непривычный. За всю долгую жизнь у бабушки накопилось только два-три таких воспоминания, которыми она соглашалась поделиться и продолжала вспоминать до глубокой старости. Неудивительно, что этот рассказ врезался в память ее внучке Агнессе.

— Милое мое дитя, — начинала бабушка, — ты слушаешь меня? То, что представилось тогда моим глазам с земляной насыпи, показалось мне таким прекрасным, осветило радостью жизнь. Такая великолепная открылась нам панорама. У меня чуть голова не закружилась, и, помню, я оперлась на руку твоего деда. Ах! Твой дедушка! Ты его не знала...

Он умер внезапно, когда ты только-только появилась на свет. Но ты должна всегда помнить о нем, слышишь! — повторяла старая мадам Буссардель, окидывая Агнессу испытующим взглядом, и при этом она каждый раз брала со стола пожелтевшую фотографию, которая всегда была у нее под рукой среди других фотографий, и протягивала внучке. — Ну как? Нравится? В свое время твой дед считался красавцем. Мы вышли из вокзала, он еле заметно взмахнул своей тросточкой, и тут же подкатил эки-

паж. Простой фиакр, открытый или, вернее, с верхом, украшенным кистями, ну, знаешь, как в Неаполе. «Трогай!» И мы покатали по улицам Марсея, объехали весь город. Наше свадебное путешествие началось. Мы отправились в Гиер Пальмовый. Было это еще при императоре. Мне тогда исполнилось шестнадцать лет.

Агнесса поднялась со своего импровизированного сиденья. Она покинула неосвещенное убежище и снова зашагала по асфальту перрона, которого не существовало в бабушкины времена, вернулась к действительности, погружившись в тяжелую тьму оккупации. На поворотах она бросала взгляд в сторону доски, где отмечалось прибытие поездов, и убеждалась, что лионский поезд все еще запаздывает. Но мысли ее витали в прошлом, ей виделась бабуся, верховное и грозное божество, неизменно восседавшее в кресле спиной к парку Монсо, спиной к живой жизни. В представлении Агнессы родоначальница Буссарделей с этого своего места проследовала непосредственно в загробный мир; этот образ старшей в роду Буссарделей стал как бы символом всего рода, и на этом обрывались воспоминания о прошлом. Бабуся умерла тихо и мирно всего два года тому назад, незадолго до объявления войны, вскоре после драмы, которая стоила жизни Ксавье и привела овдовевшую Агнессу к разрыву с семьей. Агнесса так и не повидала больше бабушку, даже в гробу; сославшись на близость родов, она не поехала в Париж на похороны.

Наконец лионский поезд подошел к платформе. Агнесса поместилась у выхода рядом с контролером

и без труда узнала новоприбывших по тому, как они внимательно оглядывались вокруг. Новые знакомцы последовали за ней. Едва они начали спускаться с лестницы Сен-Шарля, как в лицо всем четверем ударил ледяной порыв ветра и принудил остановиться на полпути, на средних ступеньках. Агнесса знала, что такое здешний ветер, и взяла под руку девушку и младшего из ее спутников, которого чуть было не сбило с ног. Крепкая, высокая, сохранившая еще спортивную форму благодаря здоровой жизни на мысе Байю, она заслоняла от ветра новоприбывших, чувствовала себя куда сильнее их. Когда они спустились с лестницы и вышли на бульвар Дюгомье, Агнесса объяснила им, что такого ветра, как в этом уголке Средиземноморья, нет нигде и что он уже не первый день гуляет по побережью.

— А я-то думал, что здесь погода мягче, чем в Лионе, — сказал один из юношей.

— Но все-таки грех жаловаться, — живо возразила Агнесса. — Если бы вы знали, какие холода стоят сейчас в Париже!

— А вы оттуда?

— Нет. Я живу в Пор-Кро круглый год. Моему сыну всего два года, и мне нельзя отлучаться надолго. Но я только что видела людей, приехавших прямо из Парижа. Во всяком случае, у нас нет обмороженных, как у них там.

Журналисты переглянулись.

За время ее отсутствия подвальное помещение кафе успело наполниться народом. Агнесса вновь увидела накрытый стол и возле него свою приятельницу — она была на посту, в своей роли распо-

рядительницы рождественского ужина. Ужина, перенесенного с полуночи на десять часов вечера, что представляло по нынешним временам несомненные выгоды, поскольку можно было сэкономить и не обедать. Приятельница Агнессы была вдовой художника, вышедшего из группы «диких» и пользовавшегося известностью в эпоху между двух войн, в двадцатые годы, когда хозяйка этого вечера, называвшаяся ныне просто Мано, еще именовалась Манолой. Теперь она жила одна в городе Кань, стране художников.

Нелегко оказалось разбить лед и разжечь беседу между гостями, которые едва знали друг друга, так как жили в разных местах Лазурного берега, да и обосновались здесь, движимые различными мотивами: тут были и деловые люди, и деятели кино и литературы, за которыми, по их словам, следили оккупанты, или же «слишком рьяные патриоты, чтобы гнуть шею под немецким сапогом», евреи, флотские офицеры с женами; среди этих временных обитателей французского юга заметно выделялись аборигены, поселившиеся здесь еще до войны и чувствовавшие себя более непринужденно. В общем, явно преобладали женщины и явно не хватало молодежи. Всю эту пеструю публику связывало, не считая главного магнита — ужина, лишь присутствие Мано, которая поспешила усадить гостей за стол, сама оставаясь в качестве хозяйки на ногах. Она нарочно выбрала для сегодняшнего вечера помещение кафе с примыкающей к нему кухней, но отказалась от услуг официантов, ради того чтобы приглашенные могли себя чувствовать свободнее и не сидеть с закрытым ртом;

она взялась обслуживать приглашенных сама и потому то и дело отлучалась на кухню, что сказывалось на настроении гостей. Гости сидели молчаливые, с натянутым видом и ели медленно, кладя ложку на подставку после каждого двух глотков традиционного лукового супа, поданного, правда, без сыра.

Под предлогом помощи хозяйке Агнесса, которая не могла отделаться от чувства подавленности, овладевшего ею на этом странном празднике, встала и, выйдя на кухню, объявила Мано, что если та не позволит помогать ей, то уж лучше пусть сразу отпустит домой.

Теперь, когда Агнесса занялась делом, она довольно бодро шагала взад и вперед по душному залу с низким потолком, где на шафраново-желтом фоне местный художник изобразил купальщиц и матросов. И Агнесса невольно спрашивала себя, чего только не нагляделись эти стены в мирное время.

— Агнесса, — сказала Мано, придерживая ее за локоть в маленьком коридорчике, — не жалейте водки. У меня ее, надеюсь, хватит. А вино лучше потом. Водку эту я добыла у своего фармацевта в Кань, что поделаешь, все лучше, чем видеть похоронные лица. Мне не хочется, чтобы моя затея провалилась.

Однако дело пока не шло на лад и все хитроумные маневры оставались втуне. Мано задумала это сборище лишь затем, чтобы самой не сидеть сложа руки и не давать сидеть другим.

«Надо все-таки хоть что-нибудь организовать», — сказала она Агнессе еще в прошлом году. Тогда она не могла похвастаться особой удачей, но прошлогодний неуспех ее отнюдь не обескуражил. И ны-

не здесь, за столом, царила какая-то растерянность, против которой она тщетно пыталась бороться: сказывалось это и в случайном подборе гостей, и в этом неурочном часе, и в гнетущей обстановке странного полуподвальчика, и даже в выборе места встречи, ибо Мано решила собрать своих приглашенных в Марселе единственно потому, что он был на равном расстоянии от Виши и Кань, от Ниццы и Лиона. Та готовность, с которой друзья Мано откликнулись сразу на ее зов, несмотря на то что поезда ходили редко и были переполнены, свидетельствовала о великой заброшенности этих новоиспеченных южан, пребывавших в ожидании событий, ход которых от них не зависел.

Понемногу гости оживились — из-за водки, а также благодаря явному преобладанию женщин. Женщины заговорили о детях, о прислуге: в общем, на сей раз из какого-то естественного чувства уважения перед празднично убраным столом вопросы пропитания не заслонили все прочее. Но женская беседа, интересовавшая далеко не всех гостей, еще не спасала положения. Невозможно было забыть окружающую действительность. Она чувствовалась и в самих разговорах, и в тех паузах, которые вдруг следовали за чьей-либо фразой и, казалось, будут длиться вечно. Весь этот вечер, на котором присутствовало так необычно мало мужчин, создавал впечатление какой-то неуверенности, неестественности, которые почти всегда сопровождают трапезы с чисто женским составом.

Одна из дам говорила больше всех и авторитетнее всех. Это была Тельма Леон-Мартен. С давних

пор эта дама, когда-то довольно известная женевская щеголиха, мечтала играть роль в обществе, чему препятствовало весьма посредственное положение ее второго мужа. Первый муж, дипломат и притом хорошей школы, потерял терпение на пятнадцатом году супружества; он покинул Тельму в тридцатых годах просто потому, что ему опостылело слушать бесконечную, не прекращавшуюся даже в постели болтовню. Впрочем, и сама Тельма, которая как раз в те годы чувствовала себя в расцвете, предпочитала иметь менее заметного мужа. Карикатурист Сэм еще до первой войны, году в тринадцатом, увековечил ее в серии «Парижский зверинец», изобразив Тельму в виде совы-сипухи, ибо она была действительно довольно похожа на премиленькую совушку, и благодаря ее репутации назойливой болтушки прозвище «сипуха» пристало к ней навсегда. Не без труда она несколько раз добивалась и добилась наконец для своего мужа места начальника канцелярии, но истинный триумф поджидал ее супруга в июле сорокового года; она сделала Леон-Мартена министром на целые три недели, министром вишийского правительства, что удалось благодаря всеобщей неразберихе, последовавшей за разгромом.

Тельма утешала себя мыслью, что это лишь начальный этап, но этап многообещающий. После первого успеха она, по ее словам, решила ограничиться и ограничить своего мужа ролью наблюдателя. Чтобы как-то успокоить мучивший ее зуд деятельности, она непрерывно циркулировала между Парижем и Виши, между Виши и Парижем. И находила себе занятие в обеих зонах. В ее распоряжении был по-

стоянный пропуск — аусвейс, о чем она не забывала сообщить всем и каждому. Так как на сегодняшнем вечере она была единственным человеком, побывавшим за демаркационной линией с тех пор, как немцы рассекли Францию надвое, гости, естественно, расспрашивали ее, как идет жизнь на том берегу, и она блистала описаниями Groß-Paris¹, где площадь Оперы украсили новые столбы с указателями.

— Это довольно внушительно, уверяю вас, это стоит посмотреть. Вы сразу видите, куда ехать: в сторону «Мажестик» или в направлении Аахена. Надписи, конечно, сделаны по-немецки. На каждом столбе вывешено двенадцать досок с указателями и с правой, и с левой стороны, доски расположены одна над другой и увенчиваются стрелкой. Очень похоже на рождественскую елку, вырезанную из дерева.

Невольно вспоминаешь прославленных нюрнбергских мастеров игрушки.

Переходя к описанию улицы Риволи, расцвеченной огромными флагами со свастикой, Тельма добавила, что, конечно, на первый взгляд это может кого-нибудь смутить, но вообще-то флаги лишь способствуют украшению улицы Риволи, всегда угнетавшей нас своей бесцветностью.

Мано все время была начеку и решила сразу же одернуть Тельму, если та открыто пустится в рассуждения о политике; впрочем, и сама рассказчица, не зная, каковы настроения ее сотрапезников, соблюдала известную осторожность. За плечами Тельмы был двадцатилетний опыт посещения полити-

¹ Большой Париж (нем.).